

§ I. Вина человека.

Разоблачение мифа о грехопадении

Пока человек живет по закону эгоизма, он обвиняет самого себя; как только он поднимается до концепции общественного закона, он обвиняет общество. И в том, и в другом случае это всегда человечество обвиняет человечество; и то, что до сих пор явственно вытекает из этого двойного обвинения, — это странная способность, о которой мы еще не сообщали, и которую религия приписывает Богу, как и человеку, ПОКАЯНИЕ.

В чем же раскаивается человечество? За что Бог, который также раскаивается в нас, хочет наказать нас? *Pœnituit Deum quod hominem fecisset in terrâ; et tactus dolore cordis intrinsecûs, delebo, inquit, hominem...* (И раскаялся Бог, что он создал человека из земли; и это огорчило его в его сердце...)

Если я докажу, что преступления, в которых человечество обвиняет себя, не являются следствием его экономических затруднений, при том, что они являются следствием его идей; что человек совершает зло бесплатно и без принуждения, так же, как он почитает себя актами героизма, которого не требует правосудие: из этого следует, что человек под давлением своей совести может привести некоторые смягчающие обстоятельства, но он никогда не может быть полностью освобожден от своего проступка; что борьба происходит в его сердце, как и в его разуме; что иногда он достоин похвалы и иногда достоин порицания, что всегда является признанием его дисгармонии; наконец, что сущность его души — это вечный компромисс между противоположными силами притяжения, его мораль — качающаяся система, одним словом, и это слово объясняет все, — эклектика.

Мое доказательство скоро будет приведено.

Существует закон, предшествующий нашей свободе, принятый от начала мира, дополненный Иисусом Христом, проповедуемый, свидетельствуемый апостолами, мучениками, исповедниками и девственницами, запечатленный в недрах человека и превосходящий всю метафизику: это ЛЮБОВЬ. *Возлюби ближнего своего, как самого себя*, говорит нам Иисус Христос после Моисея. Все здесь. *Возлюби ближнего своего, как самого себя*, и общество будет совершенным; возлюби ближнего своего, как самого себя, и все различия между князем и пастырем, богатым и бедным, ученым и невежественным, испарятся; все противоречия человеческих интересов исчезнут. *Возлюби ближнего, как самого себя*, и счастье труда, без всякой заботы о будущем, наполнит твои дни. Чтобы исполнить этот закон и стать счастливым, человеку нужно лишь следовать по зову своего

сердца и прислушиваться к голосу сострадания: он противостоит! Он делает больше: не довольствуясь предпочтением ближнего, он постоянно работает над тем, чтобы уничтожить ближнего: предав любовь эгоизму, он ниспровергает ее несправедливостью.

Человек, говорю я, не верный закону милосердия, произвел сам для себя из противоречий общества, без всякой надобности, столько средств причинить вред; своим эгоизмом цивилизация превратилась в войну неожиданностей и ловушек; он лжет, он ворует, он убивает, без обстоятельств непреодолимой силы, без провокаций, без оправдания. Словом, он совершает зло со всеми характеристиками нарочито злой натуры, тем более преступной, чем более она умеет, когда хочет, совершать добро также безвозмездно, что заставило сказать с такой же рассудительностью, как и глубиной: *Homo homini lupus, vel deus* (Человек человеку волк...).

Чтобы не слишком распространяться, а главное, чтобы ничего не предрешать по вопросам, которые мне придется взять на себя, я ограничусь ранее проанализированными экономическими фактами.

Будь разделение труда по своей природе, вплоть до дня синтетической организации, неодолимой причиной физического, морального и интеллектуального неравенства среди людей, ни общество, ни сознание ничего не смогут с этим поделаться. Это факт необходимости, в котором богат так же невиновен, как и рабочий, обреченный государством на всевозможные беды.

Но как случилось, что это роковое неравенство перешло в дворянское звание для одних, низкое положение для других? Как случилось, что если человек добр, что он не сумел своей добротой устранить это препятствие, такое метафизическое, и вместо того, чтобы усиливать между людьми братскую связь, беспощадная необходимость разрывает ее? Тут человек не может извиниться за свою экономическую неспособность, за свою законодательную непредусмотрительность: ему достаточно иметь сердце. Почему, в то время как мученики разделения труда должны были быть спасены, прославлены богатыми, они были отвергнуты как нечистые? Почему никогда не замечали, как хозяева иногда меняют рабов; князья, чиновники и священники перемещают занятых в промышленности; дворяне заменяют крестьян на земле? Откуда взялась у сильных такая жестокая гордыня?

И обратите внимание, что такое поведение с их стороны было бы не только благотворительным и братским; это была самая строгая справедливость. В соответствии с принципом коллективной силы трудящиеся являются равными и соратниками своих руководителей; так же, как в самой системе монополии общность действий, восстанавливающая равновесие, которое нарушил индивидуализм, справедливость и милосердие совмещаются. Как же тогда, с учетом гипотезы о сущностной доброте человека, объяснить чудовищную попытку изменить власть одних на благородство, а послушание других на простоту? Труд между крепостным и свободным человеком, как и цвет между черным и белым, всегда пересекала непреодолимая черта: и мы сами, столь гордые своим человеколюбием, думаем в глубине души так же, как наши предшественники. Сочувствие, которое мы испытываем к пролетарию, похоже на то, что вселяют в нас животные: страх страданий, гордость за то, что мы отдаляемся от всего, что страдает, — вот из каких уловок эгоизма происходит наше человеколюбие.

Ибо, наконец, я не хочу, чтобы этот факт сбил нас с толку, не правда ли, что спонтанная благотворительность, столь чистая в своем первобытном понятии (*elemosyna* — милость, лат., симпатия, нежность), подаяние, наконец, стала для несчастного признаком упадка, публичного увядания? И социалисты, исправляя христианство, осмеливаются говорить с нами о любви! Христианская мысль, совесть человечества, поступила правильно, ког да создала так много учреждений для облегчения несчастья. Для того чтобы постичь суть евангельского учения и сделать законное милосердие столь же почетным для тех, кто был бы его объектом, как и для тех, кто его осуществлял, нужно было что? меньше гордыни, меньше похоти, меньше эгоизма. Может ли кто-нибудь сказать мне, если человек такой хороший, то как право на милостыню стало первым звеном в длинной цепи нарушений, проступков и преступлений? Осмелятся ли еще обвинять злодеяния человека антагонизмом общественной социальной экономики, поскольку этот антагонизм давал ему такую прекрасную возможность проявить милосердие своего сердца, я говорю не самоотвержением, но простым исполнением справедливости?

Я знаю, и это возражение единственное, что может быть мне сделано, что милосердие терпит позор и бесчестье, потому что человек, требующий его, слишком часто, — увы! — подозревается в проступке, и что редко благородство нравов и труда рекомендуют его. И статистика доказывает своими цифрами, что в десять раз больше бедняков по трусости и беспечности, чем по случайности или невезению.

Я не могу опровергнуть это замечание, из которого слишком много фактов доказывают истину и которое к тому же получило санкцию народа. Народ первым обвиняет бедняков в лени; и нет ничего более обычного, чем встречать в низших классах людей, которые хвастаются, как дворянским титулом, тем, что никогда не ходили в госпиталь, и к их величайшей скорби тем, что не получали никакой помощи от общественного милосердия. Так же, как богатство сознается в своих хищениях, нищета сознается в своем унижении. Человек является тираном или рабом добровольно, до того, как стать им по воле судьбы; сердце пролетария подобно сердцу богача, — это канализация бурлящей чувственности, рассадник подлости и обмана.

На это неожиданное откровение я спрашиваю, как бывает, если человек так добр и милосерден, что богатый клеветает на милосердие, а бедный оскверняет его? — Это извращение суждений у богатого, — говорят одни; это деградация способностей у бедного, — говорят другие. — Но как получается, что суждение извращается, с одной стороны, а с другой — деградируют способности? Как получается, что истинное и сердечное братство не остановило с обеих сторон последствия гордыни и труда? Пусть мне ответят причинами, а не фразами.

Труд, изобретая процессы и машины, которые бесконечно умножают его мощь, а затем, стимулируя соперничество индустриального гения и обеспечивая его завоевания за счет прибыли капитала и привилегий эксплуатации, сделал более глубоким и неизбежным иерархическое построение общества: опять-таки не надо никого обвинять в этом. Но я еще раз подтверждаю святой закон Евангелия в том, что от нас зависело вытянуть из этого подчинения человека человеку, или, лучше сказать, рабочего от рабочего, совсем другие последствия.

Традиции феодальной жизни и жизни патриархов подавали пример промышленникам. Разделение труда и прочие происшествия на производстве были лишь призывами к большой семейной жизни, намеками на подготовительную систему, по которой должно было переводиться и развиваться братство. Хозяйства, корпорации и права первородства были задуманы с этой идеей; даже многие коммунисты не уклоняются от этой формы объединения: удивительно ли, что идеал так жив среди тех, кто, побежденный, но не обращенный, до сих пор остается его представителем? Кто же тогда мешал милосердию, объединению, самоотверженности, возможности поддерживать себя в иерархии, когда иерархия была лишь условием труда? Достаточно было, чтобы люди с машинами, доблестные всадники, сражающиеся равным оружием, не делились тайнами или запасами своих секретов; чтобы бароны отправлялись в поход только ради более дешевого товара, а не для его захвата; и чтобы вассалы, уверенные, что война приведет только к увеличению их богатства, всегда проявляли предприимчивость, трудолюбие и верность. Начальник цеха был уже не просто капитаном, который маневрировал своими вооруженными людьми в их интересах так же, как и в своих, и обслуживал их не своими деньгами, а их же собственными услугами.

Вместо этих братских отношений у нас были гордыня, ревность и лжесвидетельство; хозяин, эксплуатирующий, подобно сказочному вампиру, униженного наемника, и наемник в заговоре против хозяина; бездельник, пожирающий существо рабочего, и крепостной, крадущийся по грязи, не имеющий энергии ни на что, кроме ненависти.

«Призванные обеспечить в деле производства, эти — орудия труда, те — труд: капиталисты и рабочие сегодня в борьбе (друг с другом), почему? Потому что произвол руководит всеми их отношениями; потому что капиталист спекулирует на потребности, которую испытывает рабочий в том, чтобы получить инструменты, в то время как рабочий, со своей стороны, стремится воспользоваться потребностью, которую испытывает капиталист в увеличении своего капитала» (Л. Блан, «Организация труда»).

Но откуда этот произвол в отношениях капиталиста и рабочего? К чему эта вражда интересов? К чему это взаимное ожесточение? Вместо того, чтобы постоянно объяснять факт самым фактом, идите в глубину (проблемы), и вы обнаружите повсюду пыл потребления, который не сдерживают ни закон, ни справедливость, ни милосердие; вы увидите эгоизм, бесконечно стремящийся к будущему и приносящий в жертву своим чудовищным прихотям труд, капитал, жизнь и безопасность всего.

Богословы называли *вожделение* или *алчный аппетит* страстью чувственных вещей, следствием, по их мнению, первородного греха. Меня сейчас мало волнует, что такое первородный грех; замечу только, что алчный аппетит богословов есть не что иное, как эта *потребность в роскоши*, о которой сообщала Академия гуманитарных наук как о доминирующем мотиве наших времен. Теперь теория пропорциональности стоимостей показывает, что естественной мерой роскоши является производство; что любое ожидаемое потребление покрывается эквивалентной последующей потерей, и что преувеличение роскоши в обществе имеет своей обязательной корреляцией увеличение нищеты. Теперь, когда человек жертвует своим личным благополучием ради ожидаемых роскошных наслаждений, возможно, я обвиню его только в неосторожности; но когда он использует благосостояние своего ближнего, благосостояние, которое должно было оставаться для

него неприкосновенным, то исходя из милосердия и во имя справедливости я говорю, что тогда человек дурной, злой без оправдания.

Когда Бог, согласно Боссюэ, сформировал внутреннее содержание человека, он сначала вложил в него добро. Таким образом, любовь — наш первый закон: предписания чистого разума, а также наущения чувствительности появляются только во второй и третьей очереди. Такова иерархия наших способностей: принцип любви, составляющий основу нашего сознания и обслуживаемый разумом и органами. Следовательно, одно из двух: виновен либо человек, который посягнул на благотворительность, чтобы повиноваться своей жадности; или, если эта психология ошибочна, и в человеке потребность в роскоши должна равняться милосердию и разуму, то человек является беспорядочным животным, фундаментально злым и самым изощренным из существ.

Таким образом, органические противоречия общества не могут прикрыть ответственность человека; сами по себе эти противоречия, кроме того, являются лишь теорией иерархического режима, первичной формой и, следовательно, безупречной формой общества. По антиномии их развития труд и капитал постоянно сводились к равенству, к подчинению, солидарности так же, как к зависимости: один был агентом, другой — провокатором и хранителем общественного достояния. Это знамение было смущенно воспринято теоретиками феодальной системы; христианство появилось для того, чтобы закрепить договор; и вновь это ощущение неправильно понятой и искаженной организации, но самой по себе невинной и законной, которая вызывает у нас сожаления и поддерживает надежду партии. Поскольку эта система была предсказана судьбой, мы не можем сказать, что она была плохой сама по себе, так же, как мы не можем назвать плохим эмбриональное состояние, потому что в физиологическом развитии оно предшествует взрослой жизни.

Поэтому я настаиваю на своем обвинении:

При режиме, упраздненном Лютером и французской революцией, человек, насколько позволял ему прогресс его промышленности, мог быть счастлив: он не хотел этого; напротив, он защищал себя (от этого). Труд был признан позорным; клирик и дворянин сделали себя пожирателями бедного; чтобы удовлетворить свои животные страсти, они гасили в своих сердцах милосердие; они разоряли, угнетали, убивали труженика. И вот опять мы видим, как капитал гонится за пролетариатом. Вместо того, чтобы умерить ассоциацией и взаимопомощью разрушительную тенденцию экономических принципов, капиталист ее увеличивает без необходимости и злого умысла; он злоупотребляет чувствами и самосознанием рабочего; он делает его камердинером своих интриг, поставщиком своих излишеств, сообщником своих грабежей; он делает его во всем похожим на себя, и именно тогда он может бросить вызов справедливости ожидаемых революций. Чудовищная вещь! человек, который живет в нищете, чья душа, следовательно, кажется более близкой к милосердию и чести, этот человек разделяет испорченность своего хозяина; как и он, он отдает все гордыне и похоти, и если иногда он возмущается неравенством, от которого страдает, то это не столько из стремления к справедливости, сколько из соперничества вождения. Величайшее препятствие, которое нужно преодолеть равенству, заключается не в аристократической гордыне богатого, а в непокорном эгоизме бедного. И вы рассчитываете на его прирожденную доброту, чтобы реформировать все сразу, спонтанность и преднамеренность его умысла!

«Поскольку ложное и антиобщественное воспитание, данное нынешнему поколению, — говорит Луи Блан, — не позволяет искать мотив соперничества и воодушевления в ином месте, кроме как в дополнительном вознаграждении, разница в зарплатах будет сформулирована исходя из иерархии функций, и только совершенно новое воспитание должно будет изменить в этом отношении идеи и нравы».

Оставим тому, что они стоят, иерархию функций и неравенство зарплат: рассмотрим здесь только мотив, данный автором. Не странно ли видеть, как господин Блан констатирует доброту нашей натуры и в то же время обращается к самой подлой из наших склонностей, к жадности? Воистину, зло должно показаться вам настолько глубоким, чтобы вы сочли необходимым начать восстановление милосердия с преступления против милосердия. Иисус Христос ломал забрало гордыни и похоти: видимо, распутники, которых он катехизировал, были святыми персонажами в сравнении с дурно пахнущими овцами социализма. Но скажите нам, наконец, как были искажены наши идеи; почему антисоциально наше воспитание, поскольку теперь доказано, что общество пошло по пути, проложенному судьбой, и что нельзя больше обвинять его в преступлениях человека?

Воистину логика социализма изумительна.

Человек добр, говорят они; но надо *отвращать* его от зла, чтобы он воздерживался от него. Человек добр; но надо *заинтересовать* его добром, чтобы он творил добро. Ибо если корысть его страстей ведет его в сторону зла, то он будет творить зло; и если та же корысть оставляет его безразличным к добру, то он не будет творить добра. И общество не будет иметь права упрекать его в том, что он прислушивался к своим страстям, потому что общество должно было вести его своими страстями. Какая богатая и драгоценная натура этот Нерон, который убил свою мать, потому что эта женщина раздражала его, и сжег Рим, чтобы иметь представление о судьбе Трои! Какая душа художника у этого Гелиогабала, организовавшего проституцию! какой могучий характер у Тиберия! но какое мерзкое общество, которое извратило эти божественные души и которое вместе с тем произвело Тацита и Марка-Аврелия!

Так вот что называется невинностью человека, святостью его страстей! Древняя Сафо, покинутая любовниками, возвращается в супружескую норму; равнодушная к любви, она возвращается к Гименею, и она святая! Как жаль, что это слово «святой» не имеет во французском языке того двойного значения, которое оно имеет на иврите! Все согласились бы со святостью Сафо.

Я читал в отчете бельгийских железных дорог, что бельгийская администрация выделила своим механикам премию в размере 35 сантимов за гектолитр кокса, которая была бы сэкономлена на среднем потреблении 95 килограммов за пройденный лье, эта премия принесла результат, заключающийся в том, что потребление снизилось с 95 килограммов до 48. Этот факт обобщает всю философию социализма: постепенно обучать рабочего справедливости, воодушевлять его к труду, поднимать его до вершин самоотдачи путем повышения зарплаты, соучредительства, отличий и воздаяний. Конечно, я не намерен порицать этот старый, как мир, метод: каким бы образом вы ни приручали и ни делали змей и тигров полезными, я этому аплодирую. Но не говорите, что ваши звери — это голуби; поскольку при любом ответе я заставлю вас увидеть их когти и зубы. Прежде чем

бельгийские механики заинтересовались экономией топлива, они сожгли вдвое больше. Значит, с их стороны были проявлены беспечность, небрежность, расточительность, возможно, воровство, поскольку они были связаны по отношению к администрации контрактом, который обязывал их практиковать все противоположные добродетели. — *Это хорошо*, — скажете вы, — *заинтересовать рабочего*. — Более того, я говорю, что это справедливо. Но я утверждаю, что этот *интерес*, который оказывает на человека большее влияние, чем данное обязательство, который более влиятелен, словом, чем ДОЛГ, обвиняет человека. Социализм отступает в нравственности, и он пренебрегает христианством. Он больше не понимает милосердия, хотя именно он, по его мнению, изобрел милосердие.

Посмотрите все же, замечают социалисты, какие счастливые плоды уже принесло совершенствование нашего общественного порядка! Несомненно, нынешнее поколение лучше, чем предшествовавшее ему: ошибаемся ли мы, заключая, что совершенное общество произведет совершенных граждан? — Скажите сначала, — отвечают консерваторы, сторонники догмы грехопадения, — что религия очистила сердца, неудивительно, что институты это почувствовали. Пусть теперь религия завершит свою работу, и не беспокойтесь об обществе.

Так говорят и возражают друг другу в бесконечном разглагольствовании теоретики обоих мнений. Они не понимают, ни одни, ни другие, что человечество, чтобы служить мне выражением Библии, является единым и постоянным в своих поколениях, то есть все в нем, в каждую эпоху своего развития, как в индивидуе, так и в массе, происходит из одного и того же принципа, который заключается не в *бытии*, а в *становлении*. Они не видят, с одной стороны, что прогресс в нравственности — это непрестанное завоевание ума над животными чувствами, так же как прогресс в богатстве — это плод войны, которую труд ведет против скупости природы; следовательно, идея потерянной обществом исконной добродетели столь же абсурдна, как идея потерянного трудом исконного богатства, и сделку со страстями следует воспринимать в том же смысле, как сделку со спокойствием. С другой стороны, они не хотят слышать, что если в человечестве есть прогресс, либо по факту религии, либо по какой-либо другой причине, то предположение о конституционной испорченности — это нонсенс, противоречие.

Но я предвосхищаю выводы, которые мне придется сделать: займемся лишь констатацией того, что нравственное совершенствование человечества, как и материальное благополучие, осуществляется путем череды колебаний между пороком и добродетелью, *заслугой и провинностью*.

Да, есть прогресс человечества в справедливости, но этот прогресс нашей свободы, возникающий из прогресса нашего разума, несомненно, не доказывает нашей природной доброты; и, не позволяя нам превозносить наши страсти, он поистине разрушает их преобладание. Наша злоба со временем меняет моду и стиль: лорды средневековья грабили путешественника на большой дороге, а затем предлагали ему гостеприимство в своем замке; меркантильный феодализм, менее жестокий, эксплуатирует пролетария и строит для него больницы: кто осмелится сказать, кто из них заслужил пальму добродетели?

Из всех экономических противоречий стоимость является той, которая, доминируя над другими и обобщая их, как бы держит скипетр общества, я чуть не сказал — нравственного

мира. До тех пор, пока стоимость, колеблющаяся между двумя полюсами, стоимостью полезной и стоимостью обмена, не достигнет своего назначения, «твое» и «мое» останутся произвольно установленными; условия успеха — следствием случая; собственность опирается на сомнительное звание, все в общественной экономике является временным. Какие выводы должны были извлечь из этой неопределенности стоимости общительные, умные и свободные существа? создание дружественных правил, защищающих труд, гарантирующих обмен и низкие цены. Какая счастливая возможность для всех — заменить верностью, бескорыстием, нежностью сердца незнание объективных законов справедливости и несправедливости! Вместо этого торговля стала повсюду, посредством спонтанных усилий и единодушного согласия, случайной сделкой, контрактом на копию, лотереей, часто спекуляцией на неожиданности и мошенничеством.

Что заставляет собственника пропитания, хранителя общественного магазина имитировать дефицит, поднимать тревогу и вызывать возмущение? Общественное легкомыслие сдает потребителя на милость; любое изменение температуры дает ему предлог; уверенная перспектива наживы в конце концов развращает его, и страх, умело распространяемый, бросает население в его сети. Правда, мотив, заставляющий действовать мошенника, вора, убийцу, эти натуры, извращенные, как говорят, социальным порядком, — тот же самый, который оживляет скупщика. Как же тогда эта страсть к наживе, существующая сама собой, оборачивается во вред обществу? Каким образом превентивный, репрессивный и принудительный закон должен был постоянно вводить ограничения для свободы? Ибо в этом состоит обвинительный факт, и отрицать его невозможно: всюду закон появился в результате злоупотребления; всюду законодатель видел себя вынужденным поставить человека в положение, в котором он будет бессилён приносить вред, что синонимично попытке заткнуть глотку льву, сделать инфибуляцию кабану. И социализм, всегда подражая прошлому, сам не претендует ни на что другое: что же такое, в самом деле, эта организация, которую он требует, если не более сильная гарантия справедливости, более полное ограничение свободы? Характерная черта коммерсанта — сделать из любой вещи либо объект, либо инструмент продвижения. Разобщенный со своими единомышленниками, не согласный со всеми, он — «за» и «против» всех фактов, мнений, партий. Открытия, наука — все это в его глазах военная машина, против которой он борется и которую он хотел бы уничтожить, если только он сам не сможет использовать ее, чтобы убить своих конкурентов. Артист, ученый — артиллерист, умеющий маневрировать событиями пьесы и норовящий подкупить, если не может приобрести. Коммерсант убежден, что логика — это искусство доказывать по собственному желанию, что истинно и что — ложно; именно он изобрел политическую продажность, торговлю совестью, проституцию талантов, коррупцию прессы. Он умеет находить аргументы и адвокатов для всяких измышлений, для всех беззаконий. Только он никогда не питал иллюзий относительно стоимости политических партий: он считает их все одинаково годными к эксплуатации, то есть одинаково абсурдными.

Без всякого уважения к собственным мнениям, которые он поочередно то провозглашает, то отрицает; преследуя в других нарушения, в которых он сам виновен, он лжет в своих претензиях, он лжет в своих сведениях, он лжет в своих документах; он преувеличивает, он смягчает, он переоценивает; он смотрит на себя как на центр мира, и все, что вне его, имеет лишь существование, стоимость, относительную истинность. Тонкий и хитрый в своих сделках, он утверждает, он резервирует, всегда боясь того, чтобы сказать слишком много и не сказать достаточно; злоупотребляя словами с простаками, обобщая, чтобы не

компрометировать себя, выбирая, чтобы ни на что не соглашаться, он три раза поворачивается вокруг себя самого и семь раз почешет подбородок, прежде чем сказать свое последнее слово. Приходит ли он, наконец, к какому-то к выводу? он перечитывает, он толкует, комментирует; он дает себе пытку найти в каждой частице своего поступка глубокий смысл, а в самых ясных фразах — противоположность тому, что в них сказано.

Какое бесконечное искусство, какое лицемерие в отношениях с рабочим человеком! От простого руководителя до крупного предпринимателя, как они договариваются эксплуатировать его! как они умеют спорить о работе, чтобы получить ее по самой подлой цене! Для начала это надежда, за которую хозяин получает движение дела; затем обещание, что он учитывает наряд (на работу); затем испытание, жертва (поскольку ему никто не нужен), которую несчастный должен признать, довольствуясь самой низкой заработной платой; это бесконечные требования и перегрузки, вознаграждаемые самыми грабительскими и фальшивыми расчетами. И надо, чтобы рабочий замолчал и поклонился, чтобы он сжал кулак под рабочей блузой: ведь начальник руководит делом так, чтобы быть счастливым от участия в мошенничествах. И это отвратительное давление, такое спонтанное, такое наивное, такое свободное от всякого высшего порыва, потому что общество еще не нашло способа предотвратить его, подавить, наказать, его приписывают социальному принуждению! Какое безобразие!

Коммивояжер — это тип, высочайшее выражение монополии, резюме торговли, то есть цивилизации. Любая функция зависит от него, участвует в нем или ассимилируется с ним: поскольку с точки зрения распределения богатств отношения людей между собой все сводятся к обмену, то есть к перемещению стоимостей, можно сказать, что цивилизация персонифицировалась в коммивояжере.

Расспросите коммивояжеров о нравственности их профессии; они будут добросовестны: все они скажут вам, что коммивояж — это разбой. Жалуются на мошенничество и фальсификации, которые позорят промышленность: торговля, я имею в виду прежде всего агентскую (разъездную), — не что иное, как гигантский и постоянный заговор монополистов, по очереди конкурирующих или сговаривающихся; это уже не функция, осуществляемая ради законной прибыли, это обширная организация ажиотажа по всем предметам потребления, так же, как по передвижению людей и товаров. Уже жульничество признано терпимым в этой профессии: сколько приписок в накладных, сколько вычеркнуто, фальсифицировано! Сколько печатей сфабриковано! Сколько скрытого или выдуманного ущерба! Сколько вранья о качествах! Сколько слов — данных и взятых назад! Сколько частичных удалений! Сколько интриг и коалиций! И сколько предательств!

Коммивояжер, то есть торговец, то есть человек, — игрок, клеветник, шарлатан, продажный, вор, фальсификатор...

Это эффект нашего антагонистического общества, — замечают неомистики. Так говорят люди торговли, первые из тех, кто при любых обстоятельствах обвиняют коррупцию века. То, что они делают, по их мнению, происходит совершенно против их воли: они следуют необходимости, они находятся в обстоятельствах самообороны.

Нужны ли гениальные усилия, чтобы понять, что эти взаимные упрёки достигают самой

природы человека, что так называемое извращение общества есть не что иное, как извращение самого человека, и что противопоставление принципов и интересов — это всего лишь случайность, так сказать, внешняя, которая подчеркивает, но без необходимого влияния, и черноту нашего эгоизма, и те редкие достоинства, которыми гордится наш род?

Я понимаю дисгармонию конкуренции и ее непреодолимые последствия: это неизбежность. Конкуренция в своем главном выражении — сцепление (шестеренка), посредством которого рабочие используют взаимное ободрение и поддержку. Но пока не осуществится организация, которая должна вознести конкуренцию до ее настоящего естества, она остается гражданской войной, в которой производители, вместо того чтобы помогать друг другу в труде, перемалывают и сокрушают друг друга трудом. Опасность здесь была неминуема: человек, чтобы отвратить ее, обладал высшим законом любви; и нет ничего проще, подталкивая конкуренцию в интересах производства до крайних пределов, исправлять потом ее смертоносные последствия справедливым распределением. Далекая от этого, эта анархическая конкуренция уподобилась душе и разуму рабочего. Политэкономия вручила человеку это оружие смерти — и он ударил им; он использовал конкуренцию, как лев использует свои когти и челюсти, чтобы убивать и пожирать. Как же, повторяю, внешняя случайность изменила природу человека, которого предполагают хорошим, и мягким, и общительным?

Виноторговец призывает к себе на помощь желе, магнит, моль [226], воду и яды; в сочетаниях, полученных от своего руководителя, он добавляет все это к разрушительным эффектам конкуренции. Откуда такая ярость? Оттуда, — говорите вы, — что его конкурент подает ему пример! А этого конкурента кто провоцирует? Другой конкурент. Когда мы рассмотрим общество, тогда мы обнаружим, что это масса, а в массе каждый человек, в особенности по молчаливому согласию своих страстей, гордыни, лени, жадности, недоверия, ревности организовал эту ненавистную войну.

Сгруппировав вокруг себя орудия труда, производственное сырье и рабочих, предприниматель должен обрести в продукте вместе с расходами, которые он понесет, сначала проценты своих капиталов, а затем прибыль. Именно в результате этого принципа ссуда под проценты в конце концов утвердилась, а выгода, рассматриваемая сама по себе, всегда считалась законной. В этой системе, поскольку даже полиция прошлого не замечала сокровенного противоречия ссуды под проценты, наемный работник, вместо того чтобы подчиняться непосредственно себе, должен был зависеть от своего начальника — как вооруженный человек принадлежал графу, как племя — патриарху. Такое устройство отношений было необходимо, и до тех пор, пока не установится полное равенство, его могло хватить для благополучия всех. Но когда хозяин в своем беспорядочном эгоизме сказал служащему: ты от меня доли не получишь, и обрадовал его тем же трудом и зарплатой, где же фатальность, где оправдание? Придется ли еще, чтобы оправдать *аппетит похотливый*, отбрасывать нас к *аппетиту вспылчивому*? Остерегайтесь: отступая, чтобы оправдать человека в черед его похотей, вместо того чтобы спасти его нравственность, вы предаете ее. Что касается меня, то я предпочитаю виновного человека свирепому зверю. Природа сделала человека общительным: спонтанное развитие его инстинктов иногда делает его ангелом милосердия, иногда очаровывает его чувством братства и идеей преданности. Но существовал ли когда-нибудь капиталист, утомленный наживой, способствующий общему благу и сделавший освобождение пролетариата своей последней операцией? Это должны

быть такие люди, фавориты успеха, у которых все есть, кроме короны благотворительности: но какой бакалейщик, разбогатев, начинает продавать по себестоимости? Какой пекарь, у которого столько дел, бросает свою клиентуру и заведение своим мальчикам-работникам? какой аптекарь, выйдя на пенсию, поставяет лекарства по себестоимости? Если у милосердия есть свои мученики, почему же у него нет своих поклонников? Если бы внезапно сформировался конгресс рантье, капиталистов и предпринимателей, проводящих реформы, но все еще пригодных для службы, чтобы безвозмездно заполнить определенное количество отраслей, общество за короткое время реформировалось бы снизу доверху. Но работать даром!... это от Винсента де Поля [227], Фенелона [228], от всех тех, чья душа всегда была отделена, а сердце бедно. Человек, обогатившись наживой, станет городским советником, членом благотворительного комитета, офицером приютов; он будет выполнять все почетные функции, кроме именно той, которая была бы эффективной, но противной его привычкам. Работать без надежды на прибыль! это невозможно, так как это будет означать самоуничтожение. Может быть, он и захочет; но у него не достанет смелости. *Video meliora proboque, deteriora sequor*. Собственник в отставке — это на самом деле тот филин из басни, который собирает плоды бука для своих искалеченных мышей, в ожидании, когда он сам же их и сожрет. Стоит ли еще обвинять общество в этих последствиях столь продолжительной, столь свободно, столь полно услаждаемой страсти?

Кто же тогда объяснит эту тайну множественного и разноголосого существа, способного как на высшие добродетели, так и на самые страшные преступления? Собака лижет своего хозяина, который бьет ее; потому что природа собаки — верность, и эта природа никогда не покидает ее. Агнец укрывается в объятиях пастыря, который в итоге обдирает и поедает его; потому что неотделимый характер овцы — кротость и покой. Конь мчится сквозь пламя и стрельбу, не касаясь своими быстрыми копытами раненых и мертвых, лежащих на его пути; потому что душа коня неистощима в своем великодушии. Эти животные — мученики во имя нас по своей постоянной и преданной природе. Но слуга, который защищает своего господина с риском для жизни, за небольшое количество золота предает и убивает его; целомудренная жена оскверняет постель в связи с отвращением или с отсутствием, и в Лукреции мы находим Мессалину; владелец, по очереди отец и тиран, приподнимает и восстанавливает своего разоренного фермера, и отвращает со своих земель свою слишком многочисленную семью, увеличенную по слову феодального договора; военный человек, зеркало и образец рыцарства, делает из трупов своих товарищей средство для собственного продвижения вперед. Эпаминондас [229] и Регулус [230] торгуют кровью своих солдат: какие доказательства прошли перед моими глазами! и по ужасному контрасту профессия жертвоприношения наиболее плодотворна в трусости. У человечества есть свои мученики и отступники: чему, опять же, я приписываю этот раскол?

К антагонизму общества, говорите вы всегда; к состоянию разлуки, изоляции, вражды со своими ближними, в котором до сих пор жил человек; одним словом, к тому отчуждению его сердца, которое заставило его принять наслаждение за любовь, собственность за обладание, наказание за труд, пьянство за радость; к тому ложному сознанию, наконец, раскаяние которого не переставало преследовать его под именем *первородного греха*. Когда человек, примирившись с самим собой, перестанет смотреть на своего ближнего и на природу как на враждебные силы, тогда он будет любить и производить по спонтанности своей энергии; его страсть будет отдавать так же, как она сегодня приобретает; и он будет искать в труде и самоотверженности свое единственное счастье, свое высшее наслаждение.

Тогда любовь станет истинно и безраздельно законом человека, справедливость останется лишь пустым именем, назойливым воспоминанием о периоде насилия и слез.

Разумеется, я не игнорирую ни факта антагонизма, или, как вам будет угодно назвать, религиозного отчуждения, ни необходимости примирения человека с самим собой; вся моя философия есть лишь вечность примирений. Вы признаете, что противоречие нашей природы является предпосылкой общества, скажем лучше, материей цивилизации. Это именно тот факт, но, заметьте, нерушимый факт, смысл которого я ищу. Конечно, мы были бы близки к взаимопониманию, если бы вместо того, чтобы рассматривать инакомыслие и гармонию человеческих способностей как два отдельных, отрезанных и последовательных периода в истории, вы согласились бы видеть в них, как и я, лишь две стороны нашей природы, всегда противоположные, всегда добивающиеся примирения, но никогда полностью не примиренные. Одним словом, поскольку индивидуализм — исконное качество человечества, то объединение — это дополнительный термин; но оба они находятся в непрерывном проявлении, и на земле справедливость вечно является условием любви.

Таким образом, догмат грехопадения есть не только выражение особого, преходящего состояния разума и человеческой морали: это спонтанное, в символическом стиле, оттого столь же удивительное, сколь и несокрушимое, исповедание вины в склонности ко злу нашего рода. Горе мне грешному, — восклицает со всех сторон и на всех языках сознание рода человеческого, *Vae nobis quia peccavimus!* (Горе нам, потому что мы согрешили!). Религия, конкретизируя и драматизируя эту идею, вполне могла перенести за пределы мира и на задворки истории то, что интимно и неотвратимо для нашей души; это было с ее стороны всего лишь интеллектуальным миражом: она не ошиблась в существенности и устойчивости факта. Значит, именно этот факт всегда является оправданием, и именно с этой точки зрения мы будем объяснять догмат о первородном грехе.

У всех народов были свои искупительные обычаи, покаянные жертвы, репрессивные и уголовные институты, рожденные ужасом и сожалением о грехе (первородства). Католицизм, который воздвигает теорию повсюду, где общественная спонтанность выражает идею или возлагает надежду, превращает в таинство как символическую, так и действительную церемонию, посредством которой грешник выражает свое покаяние, просит у Бога и людей прощения за свою вину и готовится к лучшей жизни. Поэтому я не сомневаюсь, что Реформация, отвергая раскаяние, опираясь на слово «метанойя» [231], приписывая вере только добродетель, развенчивая, наконец, наказание, сделала шаг назад и полностью проигнорировала закон прогресса. Отрицать — еще не значит отвечать. Злоупотребления церкви призывали с этой точки зрения, как и многое другое, к реформе; теории наказания, проклятия, отпущения грехов и благодати содержали, если позволено так сказать, в скрытом состоянии, всю систему воспитания человечества; надо было развивать, подталкивать к рационализму эти теории: Лютер умел только разрушать. Предсмертное исповедание было деградацией покаяния, двусмысленной демонстрацией, замененной великим актом смирения; Лютер рассчитывая на папистское лицемерие, сократил первобытное исповедание перед Богом и людьми (*exomologôûmai tô théô kai humin, adelphoî*) до монолога. Христианский смысл, таким образом, был утрачен; и лишь три века спустя он был восстановлен философией.

Затем, поскольку христианство, то есть религиозное человечество, не могло ошибиться в

РЕАЛЬНОСТИ факта, существенного для человеческой природы, того факта, который оно обозначило словами *изначального преступления*, давайте еще раз спросим христианство, человечество, о СМЫСЛЕ этого факта. Не будем удивляться ни метафоре, ни аллегории: истина не зависит от фигур (речи). А впрочем, что для нас есть истина, если не непрекращающийся прогресс нашего духа от поэзии к прозе?

И сначала давайте выясним, не будет ли эта своеобразная идея изначальной предначертанности иметь где-то в христианском богословии свою коррелятивность. Ибо истинная идея, родовая идея, не может быть результатом изолированного замысла; нужна серия.

Христианство, заложив в качестве первого термина догмат грехопадения, продолжило свою мысль, утверждая для всех, кто умирал в этом состоянии скверны, бесповоротное отделение от Бога, вечное мучение. Затем оно дополнило свою теорию, примиряя эти две противоположности догмой реабилитации или благодати, согласно которой всякая тварь, рожденная в ненависти к Богу, примиряется заслугами Иисуса Христа, которые вера и покаяние делают действенными. Таким образом, сущностная испорченность нашей природы и вечная кара, кроме искупления добровольным участием в жертве Христовой: такова в сумме эволюция богословской идеи. Второе утверждение является следствием первого; третье — отрицанием и преображением двух других: ведь изначальное зло нерушимо, а искупление, которое оно влечет, вечно, если только не появится высшая сила, которая посредством полного обновления разорвет эту участь и прекратит анафему.

Человеческий разум в своих религиозных фантазиях, как и в своих самых положительных теориях, всегда имеет только один метод: та же метафизика произвела христианские мистерии и противоречия политической экономии; вера, сама того не ведая, происходит из разума; и мы, исследователи божественных и человеческих проявлений, имеем право именем разума проверить гипотезы богословия.

Что же, таким образом, вселенский разум, сформулированный в религиозных догмах, увидел в человеческой природе, когда посредством столь точного метафизического построения он по очереди утверждал *неразумность* проступка, вечность наказания, необходимость помилования? Завесы богословия начинают становиться настолько прозрачными, что она вполне напоминает естествознание.

Если мы предположим операцию, посредством которой высшее существо произвело все существа, уже не как эманацию, излияние созидательной силы и бесконечной субстанции, а как разделение или дифференциацию этой существенной силы, то каждое организованное или неорганизованное существо предстанет перед нами как специальный представитель одной из бесчисленных виртуальностей бесконечного бытия, как расщепление абсолюта; и совокупностью всех этих индивидуальностей (флюидов, минералов, растений, насекомых, рыб, птиц и четвероногих) будет творение, будет вселенная.

Человек, это резюме вселенной, суммирует и синкретирует в своем лице все виртуальности бытия, все расколы абсолюта; он — вершина, где эти виртуальности, существующие только в силу своего расхождения, объединяются в пучок, но не проникают друг в друга и не путаются. Человек, следовательно, одновременно, посредством этой агрегации, — дух и

материя, спонтанность и размышление, механизм и живое, ангел и бес. Он гадкий клеветник, кровожадный, как тигр, обжорливый, как свинья, непристойный, как обезьяна; и преданный, как собака, великодушный, как лошадь, трудолюбивый, как пчела, моногамный, как голубь, общительный, как бобр и овца. Более того, он человек, то есть разумный и свободный, склонный к образованию и совершенствованию. Человек пользуется такими же именами, как Юпитер: все эти имена написаны на его лице; и в разнообразном зеркале природы его непогрешимый инстинкт умеет распознать их. Змея прекрасна с точки зрения разума; именно убеждение находит ее отвратительной и уродливой. Древние, как и современники, уловили эту конституцию человека путем агломерации всех земных виртуальностей: работы Галла и Лаватера [232] были, если можно так сказать, всего лишь попытками дезагрегирования человеческого синкретизма, а классификация, которую они составили из наших способностей, — сокращенной картиной природы. Человек, наконец, подобно пророку в львиной яме, действительно предан зверям; и если что-то и должно сообщить потомству о гнусном лицемерии нашего времени, так это то, что ученые, фанатичные спиритуалисты, верили, что служат религии и морали, искажая наш род и заставляя лгать анатомию.

Поэтому вопрос только в том, зависит ли от человека, невзирая на противоречия, которые множатся вокруг него постепенным распространением его идей, дать больший или меньший рост виртуальности, находящейся в его власти, или, как говорят моралисты, его страстям; другими словами, если, подобно древнему Гераклу, он сможет победить животное начало, которое его одолевает, адский легион, который, кажется, всегда готов его пожрать.

Однако всеобщее волеизъявление народов свидетельствует, как мы отмечали в главах III и IV, о том, что человек, невзирая на все его животные влечения, стремится к разуму и свободе, то есть вначале к способности оценивать и выбирать, а затем к силе действий, не равнодушной к добру и злу. Кроме того, мы обнаружили, что эти две способности, оказывающие друг на друга необходимое влияние, были способны к развитию, к бесконечному совершенствованию.

Общественная судьба, слово человеческой тайны, таким образом, заключено в этом: ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГРЕСС.

Воспитание свободы, укрощение наших инстинктов, избавление или искупление нашей души — вот, как доказал Лессинг [233], смысл христианской тайны. Это воспитание будет происходить в течение всей нашей жизни и всей жизни человечества: противоречия политической экономии могут быть разрешены; сокровенное противоречие нашего бытия никогда не будет разрешено. Вот почему великие учителя человечества — Моисей, Будда, Иисус Христос, Зороастр — все были апостолами искупления, живыми символами покаяния. Человек по своей природе грешен, то есть по существу не *зловредный*, а скорее *нескладный* (плохо скроенный), и его предназначение — вечно воссоздавать в себе свой идеал. Именно это глубоко чувствовал величайший из художников Рафаэль, когда говорил, что искусство состоит в том, чтобы делать вещи не такими, как их сделала природа, а такими, какими ей следовало их сделать.

Так что это мы должны отныне учить богословов, ибо только мы продолжаем традицию Церкви, только мы обладаем смыслом Священного писания, Соборов и Отцов. Наше

толкование опирается на все, что есть наиболее определенное и достоверное, на самый высокий авторитет, который может быть у людей, на метафизическое строение идей и фактов. Да, человек порочен, потому что нелогичен, потому что его конституция — всего лишь эклектика, постоянно удерживающая в борьбе виртуальности бытия, независимо от общественных противоречий. Жизнь человека — это лишь непрерывная сделка между трудом и горем, любовью и наслаждением, справедливостью и эгоизмом; а добровольная жертва, которую человек совершает по велению своих худших побуждений, — это крещение, которое готовит его примирение с Богом, которое делает его достойным Блаженного Союза и вечной благодати.

Таким образом, цель общественной экономики, неуклонно обеспечивающей порядок в труде и способствующей воспитанию вида, состоит в том, чтобы сделать как можно больше посредством равенства, излишнего милосердия, того милосердия, которое не умеет повелевать своими рабами; или, лучше сказать, вытянуть, как цветок из его стебля, милосердие из справедливости. Эй! если бы милосердие имело силу создать счастье среди людей, оно давно привело бы свои доказательства; а социализм, вместо того чтобы искать, как организовать труд, должен был бы только сказать: берегитесь, вам не хватает благотворительности.

Но, увы! Милосердие в человеке скудное, постыдное, слабое и безразличное; чтобы действовать, ему нужны эликсиры и ароматы. Вот почему я придерживался тройной догмы преступления, проклятия и искупления, то есть совершенства по справедливости. Свобода здесь всегда нуждается в помощи, и католическая теория небесных милостей дополняет эту слишком реальную демонстрацию несчастий нашей природы.

Благодать, говорят богословы, это в порядке спасения — всякая помощь или средство, способное привести нас к вечной жизни. — То есть человек совершенствуется, цивилизовывается, очеловечивается не иначе, как непрерывным спасением опыта, промышленностью, наукой и искусством, наслаждением и скорбью, словом — всеми упражнениями тела и духа.

Есть *обычная* благодать, именуемая также *оправдывающей* и *освящающей*, которая мыслится как качество, пребывающее в душе, заключающее в себе вселенные добродетели и дары Святого Духа и то, которое не отделимо от милосердия. — Иными словами, обычная благодать — символ преобладающих притяжений добра, которые ведут человека к порядку и любви, в центре которых ему удастся укротить свои дурные наклонности и остаться хозяином в своем пространстве. Что же касается *современной* благодати, то она указывает на внешние средства, способствующие расцвету чувств порядка и служащие для борьбы с подрывными страстями.

Благодать, по мнению Святого Августина, по существу безвозмездна, и предшествует в человеке греху. Боссюэ [234] выразил ту же мысль в своем стиле, полном поэзии и нежности: *когда Бог со творил внутреннее содержание человека, он прежде всего вложил в него доброту*. — Действительно, первое определение свободы воли заключается в этой природной *доброте*, посредством которой человек непрерывно побуждается к порядку, труду, учебе, скромности, милосердию и жертвенности. Поэтому святой Павел, не нападая на свободную волю, мог сказать, что во всем, что связано с исполнением добра, *Бог*

действует в нас желанием и действием. Ибо все святые устремления человека находятся в нем еще до того, как он мыслит и чувствует; и смятение сердца, которое он испытывает, когда насилует их, восторг, который переполняет его, когда он подчиняется им, все приглашения, наконец, исходящие к нему от общества и его воспитания, не принадлежат ему.

Когда благодать такова, что воля с ликованием и любовью без колебаний и бесповоротно устремляется к добру, она называется *действенной*. — Все видели такие душевные проявления, которые провоцируют вдруг акт героизма. Свобода не погибает в ней; но, по ее предопределениям, можно сказать, что она была неизбежна, чтобы так решиться. И пелагианцы [235], лютеране и другие ошибались, говоря, что благодать подрывает свободную волю и убивает ее созидательную силу; поскольку все определения воли обязательно исходят или от общества, которое ее поддерживает, или от природы, которая открывает ему поприще и показывает ему его предназначение.

Но, с другой стороны, августинцы, томисты, конгруисты, Янсениус, П. Томассен, Молина и т.д. странным образом презирали друг друга, когда, поддерживая одновременно и свободу воли, и благодать, не видели, что между этими двумя терминами существует такая же связь, как между веществом и образом, и когда признали оппозицию, которая не существует. Необходимо, чтобы свобода, как и разум, как всякое вещество и сила, определялась, то есть имела свои состояния и атрибуты. Однако, в то время как в этом вопросе образ и атрибут присущи веществу, будучи современными веществу; в свободе режим дается тремя, так сказать, внешними агентами: человеческой сущностью, законами мышления, упражнениями или воспитанием. *Благодать*, наконец, как и ее противоположность, *искушение*, указывает на сам факт определения свободы.

В итоге все современные представления о воспитании человечества являются лишь интерпретацией, философией католической доктрины благодати, доктрины, которая не показалась ее авторам туманной только из-за их представлений о свободе воли, которая, по их мнению, угрожала, как только говорили о благодати или источнике ее определений. Напротив, мы утверждаем, что свобода, сама по себе безразличная ко всяким условиям, но предназначенная действовать и формироваться в соответствии с заранее установленным порядком, получает свой первый импульс от Творца, который внушает ей любовь, разум, мужество, решимость и все дары Святого Духа, а затем предает ее работе опыта. Отсюда следует, что благодать необходимо *первозданна*, что без нее человек не способен ни на какие блага, и что тем не менее свобода воли самопроизвольно, с обдумыванием и выбором, исполняет свое предназначение. Во всем этом нет ни противоречия, ни тайны. Человек как человек хорош; но, как и тиран, изображенный Платоном, который тоже был «доктором» благодати, человек несет в себе тысячу чудовищ, которых должен одолеть культ справедливости и науки, музыки и гимнастики, все милости случая и состояния. Исправьте какое-нибудь определение в святом Августине, и все это учение о благодати, прославленное спорами, которые вызвали и сбили с толку Реформацию, покажется вам сияющим ясностью и гармонией.

А теперь человек — это Бог?

Бог, согласно богословской гипотезе, является суверенным, абсолютным, высоко

синтетическим существом, бесконечно мудрым и свободным и, следовательно, непреходящим и святым; разумно, что человек, синкретизм творения, точка объединения всех физических, органических, интеллектуальных и моральных виртуальностей, проявленных творением; совершенствующийся и подверженный ошибкам человек не удовлетворяет условиям Божественности, которые природа его разума предполагает. Он не Бог, он не сможет, в процессе бытия, стать Богом.

Более того, дуб, лев, Солнце, сама вселенная, осколки абсолюта, не являются Богом. Таким же образом ниспровергаются антрополатрия и физиолатрия.

Теперь речь идет об обратном испытании этой теории.

С точки зрения социальных противоречий мы оценили нравственность человека. Мы, в свою очередь, оценим и с той же точки зрения мораль Провидения. Иными словами, возможен ли Бог, которого умозрение и вера предают поклонению смертным?

Версия #1

Зверобой создал 14 марта 2025 03:20:39

Зверобой обновил 14 марта 2025 03:21:48